

*At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum
fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam
defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne
oderim tam segniter pereuntes.*

Tacitus. Annales. Liber XVI [\[1\]](#)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, следовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году.

Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

ГЛАВА 1

ОПРИЧНИКИ

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или, по нынешнему счислению, 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли, и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, вывели от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал окончательную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим выюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести, а вы все норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко

и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем непоколебимую твердость, а улыбка — беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка отеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но, если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всюю землею. Казалось, с его праведным царствием настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались

шуточною бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.

— Эхва! — сказал он весело, — вишь как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то. Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

— Да, я чай, уже недалеко до Москвы! — сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

— Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спросал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

— Ну добро, — сказал князь, — отдохайте!

— Эй, вы! — закричал Михеич, обращаясь к ратникам, — долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешились и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

— Не чинитесь, добрые люди, — сказал ласково Никита Романович, — кричат соколам не помеха!

— Спасибо, боярин, — отвечал пожилой крестьянин. — Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем: уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры! — продолжал он, обращаясь к девкам, — чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричнина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

— Какая опричнина? Что за опричники? — спросил князь.

— Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул:

— Царь указал обижать народ? Ах они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

— Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вот на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: Бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

— Как, на царской дороге, под самую Москвою, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да, — подтвердил мужик, — мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

— Дурень! — вскричал князь, — не смей станичников царскими людьми величать! — «Ума не приложу, — подумал он. — Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка — невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

— Государь мой, тещушка, — пел жених вместе с хором, — свари мне пива!

— Государыня теща, напеки пирогов!

— Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

— Пошел, тесть, к черту!

— Пошла, теща, к черту!

— Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня.

Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

— Спасите! спрячьте! — кричал он, хватаясь за полы мужиков.

— Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страха едва мог говорить.

— Там, там, — произнес он дрожащим голосом, — за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями; пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни...

— Беда, беда! — кричали они, — опричники! Бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда! — кричал он, — колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

— Батюшка! Боярин! — вопили те, которые были ближе к князю, — не выдавай нас, сирот! Обороны горемычных!

Но князя уже не было между ними.

— Где ж боярин? — спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. — И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

— Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

— На березу его! — закричал черный. — Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и накинули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполовину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

— Кто ты, мошенник? — спросил князь.

— А ты кто? — отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвечай, окаянный, или застрелю как собаку!

— Я тебе не слуга, разбойник, — отвечал черный, не показывая боязни, — а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистоли щелкнул, но кремьень осекся, и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

— Скрутите и этого! — сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! — подумал князь. — Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

— Смотри, батюшка, — сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, — вишь, они какие осылы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

— Это что за люди? — спросил князь. — Зачем вы их к седлам прикрутили?

— Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

— Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободой, остались посмотреть, что будет с побежденными.

— Слушайте, мошеники, — сказал князь связанным опричникам, — говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

— Что, у тебя глаза лопнули, что ли? — отвечал один из них. — Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

— Окаянные! — вскричал Серебряный, — коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

— Да ты, видно, с неба свалился, — сказал с усмешкой черный детина, — что никогда опричников не видал? И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю.

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодец, — сказал он, — твоя дерзость мне было пришлось по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

— Я Матвей Хомяк! — отвечал он, — стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова — что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику. Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему:

— Дозволь, боярин, слово молвить.

— Говори!

— Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там делается. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

— Ты кто, молодец? — спросил Серебряный, — и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

— Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа с злодеями немного принесет пользы, тогда как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

— Власть твоя посылать этих собак к губному старосте, — сказал незнакомец, — только, поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал все молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

— Батюшка боярин, — сказал он, — оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что Бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозвожь, до крайности, перед отправкой-то, на всяк случай, влепить им по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкурятина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезть пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

— Это самое питательное дело!.. — сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю. — Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой — и памятно для них будет.

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

— Боярин, — сказал он, — уж коли ты хочешь ехать с одним только стремянным, то дозвожь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж, не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и после краткого отдыха все четверо пустились в путь.

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ

Дорогой Михеич несколько раз пытался вывести от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделивались разными изворотами.

— Тьфу, тетка их подкурятина! — сказал наконец сам про себя Михеич. — Что за народ! Словно вьюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

— Боярин, — сказал он, — хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

— А хоть и лихие, — отвечал беззаботно князь, — все же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники.

— А провал их знает, постоят ли, батюшка? Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фыркание.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где, сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразил нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пищалей! «Прости, князь, — говорил ему украдкою этот голос, — я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песне говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами воздымались и опускались и наконец, взлетев высоко, высоко, парили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песне среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Соппротивление стало невозможно.

— Ах мошенники! — вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди, — ах, тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

— Кто едет? — спросил грубый голос.

— Бабушкино веретено! — отвечал младший из новых товарищей князя.

— В дедушкином лапте! — сказал грубый голос.

— Откуда бог несет, земляки?

— Не тряс яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожаю! — продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

— Вишь, боярин, — сказал незнакомец, равнясь с князем, — ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не боле, а там скоро и Москва!

— Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

— Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе верные холопы!

— Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

— У меня имя не одно, — отвечал младший из незнакомцев. — Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался

мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

— Ах ты, мой кормилец! — сказал он Перстню, — не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

— И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, боже сохрани, какой сердитый!

— А камора за ставом? — сказал Перстень.

— Вся завалена мешками!

— А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь.

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

— А скажите, молодцы, — спросил Михеич, — где ж отыскать вас, если б, неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

— Спроси у ветра, — отвечал Перстень, — откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена стрела, там и дом ее! В свидетели, — продолжал он, усмехаясь, — мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

— Вишь ты, тетка твоя подкурятина! — проворчал себе под нос Михеич, — какие кудрявые речи выговаривает!

— Боярин, — сказал Перстень, удаляясь, — послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его как сидорову козу!

— Вишь, что наладил, — проворчал опять Михеич, — отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно, с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, — прибавил он громко, — наш князь никого не боится; наплевать ему на твое Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была

странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета; морщины во всех направлениях пересекали лицо его.

Поужинав и помолившись Богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

— Боярин, — сказал Михеич, когда они остались одни, — сдастся мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

— Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?

— Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть!

— Да что тебе здесь худо, что ли?

— Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник!

— Что ж с того, что он мельник?

— Как что, что мельник? — сказал с жаром Михеич. — Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да черта с два! Тетка его подкурятина!

— Слышал я про это, — сказал князь, — мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что Бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помолчал и спросил уже заспанным голосом:

— А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

— Я думаю, разбойник.

— И я так думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойник.

— И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

ГЛАВА 3

КОЛДОВСТВО

Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

— Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

— Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

— Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

— Я те дам сундук запирать, чертова кочерга! — закричал тот, которого мельник назвал князем. — Разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

— Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, все испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

— Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдуманно, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

— Батюшка, умиლოსердись! Что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу, что после случится, в том один Бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

— Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

— Что ж, князь, — сказал мельник, — выучил ты слова?

— И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

— Что ж, боярин, и это не помогает?

— Нет, — отвечал с досадой князь, — ничего не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

— Не прогневишь, боярин, не руби невинной головы, а дозвожь тебе слово молвить.

— Говори, старик.

— Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

— Говори! — закричал князь и топнул ногой.

— Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

— Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

— А если... — продолжал мельник, запинаясь, — если она любит не мужа?..

— Ах ты леший! — вскричал князь, — да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

— Колдун, — продолжал князь, смягчая свой голос, — помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские, и опричники, жалует царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

— Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

— Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу — промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом, растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

— Меня уж и так боятся, — сказал он, — не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

— Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдерживать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

— А боле нет других?

— Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

— А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замялся.

— Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю.

— А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава: когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски!

— Пропадай ты с своими травами! — сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

— Старик! — вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, — подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

— Сжался надо мной! — зарыдал он. — Излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался:

— Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь! — сказал дрожащим голосом мельник, — пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

— Начинай, — сказал он, — я готов.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освещенное месяцем, продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой в гущине леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

— Смотри, князь, под колесо, а я стану нашептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо. Прошло несколько минут.

— Что видишь, князь?

— Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы играют.

— Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

— Смотри еще, князь, что видишь?

— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

— Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще, говори, что видишь?

— Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

— Что это значит, старик?

— Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

— Вот потянулись багровые нитки, словно жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

— Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

— Постой! — сказал Вяземский, отталкивая мельника, — вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

— Постой, старик, мне дурно, мне больно в составах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение.

Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

— Хочу знать, любит ли она другого!

— А есть ли у тебя, боярин, какая вещичка от нее?

— Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

— Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

— Хлебни! — сказал он, подавая сулею князю.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru